

*Нине Николаевне Грин  
подносит и посвящает*

Автор

Пбг, 23 ноября 1922 г.

## I

### ПРЕДСКАЗАНИЕ

Лонгрэн, матрос «Ориона», крепкого трехсоттонного брига, на котором он прослужил десять лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был наконец покинуть службу.

Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой он не увидел, как всегда еще издали, на пороге дома свою жену Мери, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее у детской кровати — нового предмета в маленьком доме Лонгрена — стояла взволнованная соседка.

— Три месяца я ходила за нею, старик, — сказала она, — посмотри на свою дочь.

Мертвея, Лонгрэн наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя.

— Когда умерла Мери? — спросил он.

Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканием девочке и уверениями, что Мери в раю. Когда Лонгрэн узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы — будь теперь они все вместе, вдвоем — был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой.

Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лонгреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной; наконец потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила Мери попросить в долг денег у Меннерса. Меннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком.

Мери пошла к нему в шесть часов вечера. Около семи рассказчица встретила ее на дороге к Лиссу. Заплаканная и расстроенная

Мери сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Меннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мери ничего не добилась.

— У нас в доме нет даже крошки съестного, — сказала она соседке. — Я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа.

В этот вечер была холодная, ветреная погода; рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в Лисс к ночи. «Ты промокнешь, Мери, накапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесет ливень».

Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее трех часов скорой ходьбы, но Мери не послушалась советов рассказчицы. «Довольно мне колоть вам глаза, — сказала она, — и так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колючку, и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду; непогода и вечерняя изморось сразила ее двухсторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердной рассказчицей. Через неделю на двупальной кровати Лонгрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было не трудно. «К тому же, — прибавила она, — без такого несмышлениша скучно».

Лонгрэн поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать, но лишь только Ассоль перестала падать, занося ножку через порог, Лонгрэн решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе.

Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки — искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов — словом, того, что он близко знал, что в силу характера работы отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лонгрэн добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он, после смерти жены, стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко

бросая по сторонам: «да», «нет», «здравствуйте», «прощай», «поменьку» — на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намеками и вымысленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше.

Сам он тоже не посещал никого; таким образом меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрена — игрушки — менее независима от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе — Меннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лонгреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство ращения девочки.

Ассоль было уже пять лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, поглядывая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни — дикие ревестишия. В передаче детским голосом и не везде с буквой «р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь.

Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норд.

Рыбачьи лодки, повидавшие на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом; холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал «открытый воздух» суровой пыткой. Все трубы Каперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам.

Но эти дни норда выманивали Лонгрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и Каперну покрывалами воздушного золота. Лонгрэн выходил на мостик, настланный по длинным рядам свай, где, на самом конце этого дощатого мола, подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря, как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, грохочущий бег которых к черному, штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огром-

ных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, — так силен был его ровный пробег, — давали измученной душе Лонгрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равна действием глубокому сну.

В один из таких дней двенадцатилетний сын Меннерса, Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно; Меннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола, спиной к нему стоявшего, куря, Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Меннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено-плещущую воду и отвязал шкот; стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Меннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Меннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть. Меж Лонгреном и Меннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше десяти сажен еще спасительного расстояния, так как на мостках под рукой у Лонгрена висел сверток каната с вплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.

— Лонгрэн! — закричал смертельно перепуганный Меннерс. — Что же ты стал как пень? Видишь, меня уносит; брось причал!

Лонгрэн молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Меннерса, только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул ее из рта, чтобы лучше видеть происходящее.

— Лонгрэн! — взывал Меннерс. — Ты ведь слышишь меня, я погибаю, спаси!

Но Лонгрэн не сказал ему ни одного слова; казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова-крики Меннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Меннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями, но Лонгрэн только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из вида метания и скачки лодки. «Лонгрэн, — донеслось к нему глухо, как с крыши — сидящему внутри дома, — спаси!»

Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лонгрэн крикнул:

— Она так же просила тебя! Думай об этом, пока еще жив, Меннерс, и не забудь!

Тогда крики умолкли, и Лонгрэн пошел домой. Ассоль, проснувшись, увидела, что отец сидит перед угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом.

— Спи, милая, — сказал он, — до утра еще далеко.

— Что ты делаешь?

— Черную игрушку я сделал, Ассоль, — спи!

На другой день только и разговоров было у жителей Каперны что о пропавшем Меннерсе, а на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Меннерса; разбитый сотрясениями о борта и дно лодки, за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших, не уставая, выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом «Лукреция», шедшим в Кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Меннерса. Он прожил немного менее сорока восьми часов, призывая на Лонгрэна все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Меннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, порастил жителей Каперны. Не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление и более тяжкое, чем перенесенное Лонгрэном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мери, — им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лонгрэн *молчал*. *Молча*, до своих последних слов, посланных вдогонку Меннерсу, Лонгрэн *стоял*; стоял неподвижно, строго и тихо, как *судья*, выказав глубокое презрение к Меннерсу — большее, чем ненависть, было в его молчании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражая жестами или суетливостью злорадство, или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Меннерса, рыбаки поняли бы его, но он поступил иначе, чем поступали они, — поступил *внушительно*, *непонятно* и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел; мальчишки, завидев его, кричали вдогонку: «Лонгрэн утопил Меннерса!» Он не обращал на

это внимания. Так же, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу, среди лодок, рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Меннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Ассоль.

Девочка росла без подруг. Два-три десятка детей ее возраста, живших в Каперне, пропитанной, как губка водой, грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, переимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно, путем внушения и окриков взрослых, приобрело характер страшного запрета, а затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса.

К тому же замкнутый образ жизни Лонгрена освободил теперь истерический язык сплетни; про матроса говаривали, что он где-то кого-то убил, оттого, мол, его больше не берут служить на суда, а сам он мрачен и нелюдим, потому что «терзается угрызениями преступной совести». Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями *общественного мнения*; она перестала наконец оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца: «Скажи, почему нас не любят?» — «Э, Ассоль, — говорил Лонгрэн, — разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут». — «Как это — *уметь*?» — «А вот так!» Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.

Любимым развлечением Ассоль было по вечерам или в праздник, когда отец, отставив банки с клейстером, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть, с трубкой в зубах, — забраться к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях — лекция, в которой, благодаря прежнему образу жизни Лонгрена, случайностям, случаю вообще, — диковинным, поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место. Лонгрэн, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль,

то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и т. п., а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность — в образы своей фантазии. Тут появлялась и *тигровая кошка*, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой значило сбиться с курса, и Летучий Голландец с неистовым своим экипажем; приметы, привидения, русалки, пираты — словом, все басни, коротающие досуг моряка в штале или излюбленном кабаке. Рассказывал Лонгрен также о потерпевших крушение, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем, может быть, слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. «Ну, говори еще», — просила Ассоль, когда Лонгрен, задумавшись, умолкал, и засыпала на его груди с головой полной чудесных снов.

Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работу Лонгрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок, горсть орехов. Лонгрен обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял. «Эх вы, — говорил Лонгрен, — да я неделю сидел над этим ботом. — Бот был пятивершковый. — Посмотри, что за прочность, — а осадка, а доброта? Бот этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду». Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыкавшей над своим яблоком, лишала Лонгрена стойкости и охоты спорить; он уступал, а приказчик, набив корзину превосходными, прочными игрушками, уходил, посмеиваясь в усы.

Всю домовую работу Лонгрен исполнял сам: колол дрова, носил воду, топил печь, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось не часто, хотя Лисс лежал всего в четырех верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорога чаща полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечат-



лительности Ассоль не грозили фантомы воображения, Лонгрен отпускал ее в город.

Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка приехала у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки; из них две-три оказались новинкой для нее: Лонгрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой; белое суденышко это несло алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употребившегося Лонгреном для оклейки парходных кают — игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашел подходящего материала для паруса, употребив что было — лоскутки алого шелка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей с переброшенным через него жердяным мостиком; ручей справа и слева уходил в лес. «Если я спущу ее на воду поплавать немного, — размышляла Ассоль, — она ведь не промокнет, я ее потом вытру». Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно; паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде; свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. «Ты откуда приехал, капитан? — важно спросила Ассоль воображенное лицо и, отвечая сама себе, сказала: — Я приехал... приехал... приехал я из Китая. — А что ты привез? — Что привез, о том не скажу. — Ах, ты так, капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзинку». Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув в берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого: ручей казался девочке огромной рекой, а яхта — далеким, большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. «Капитан испугался», — подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу. Поспешно таща не тяжелую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила: «Ах, господи! Ведь случись же...» Она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала.

Ассоль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощенной нетерпеливым желанием поймать игрушку, не смотрелось по сторонам; возле берега, где она суетилась, было довольно препятствий, занимавших внимание. Мшистые стволы упавших деревьев, ямы, высокий папоротник, шиповник, жасмин и орешник мешали

ей на каждом шагу; одолевая их, она постепенно теряла силы, оставаясь все чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись, в более широких местах, осоковые и тростниковые заросли, Ассоль совсем было потеряла из вида алое сверкание парусов, но, обежав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущих прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада с ее пестротой, переходящей от дымных столбов света в листве к темным расселинам дремучего сумрака глубоко поразила девочку. На мгновение оробев, она вспомнила вновь об игрушке и, несколько раз выпустив глубокое «ф-фу-у», побежала изо всех сил.

В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости. Здесь было устье ручья; разлившись нешироко и мелко, так что виднелась струящаяся голубизна камней, он пропадал в встречной морской волне. С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья, на плоском большом камне, спиной к ней, сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воззрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть еще ни разу не приходилось.

Но перед ней был не кто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Серые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы; серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника; белый воротничок, галстук, пояс, униженный серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком — выказывали горожанина. Его лицо, если можно назвать лицом нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных, свирепо взраженных вверх усов, казалось бы вяло-прозрачным, если бы не глаза, серые, как песок, и блестящие, как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным.

— Теперь отдай мне, — несмело сказала девочка. — Ты уже поиграл. Ты как поймал ее?

Эгль поднял голову, уронив яхту, — так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал ее, улыбаясь и медленно пропуская бороду в большой, жилистой горсти. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие, загорелые ноги девочки. Ее темные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные, с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица; его неправильный мягкий овал был оваян того рода прелестным загаром, какой присущ здоровой белизне кожи. Полуоткрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой.

— Клянусь Гриммами, Эзопом и Андерсеном, — сказал Эгль, поглядывая то на девочку, то на яхту. — Это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение! Это твоя штука?

— Да, я за ней бежала по всему ручью; я думала, что умру. Она была тут?

— У самых моих ног. Кораблекрушение причиной того, что я, в качестве берегового пирата, могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трехвершковым валом — между моей левой пяткой и оконечностью палки. — Он стукнул тростью. — Как зовут тебя, крошка?

— Ассоль, — сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку.

— Хорошо, — продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблескивала усмешка дружелюбного расположения духа. — Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины; что бы я стал делать, называясь ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды Прекрасной Неизвестности? Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов... как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты... Такая как есть. Я, милая, поэт в душе — хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?

— Лодочки, — сказала Ассоль, встряхивая корзинкой, — потом пароход да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут.

— Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту поплавать, а она сбежала — ведь так?

— Ты разве видел? — с сомнением спросила Ассоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама. — Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?

— Я это знал.

— А как же?

— Потому что я — самый главный волшебник.

Ассоль смутилась; ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, томительное приключение с яхтой, непонятная речь старика с сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действительностью. Со строй теперь Эгль гримасу или закричи что-нибудь — девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как широко раскрылись ее глаза, сделал крутой поворот.

— Тебе нечего бояться меня, — серьезно сказал он. — Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душам. — Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. «Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы, — решил он. — Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет». — Ну-ка, — продолжал Эгль, стараясь закруглить оригинальное положение (склонность к мифотворчеству — следствие всегдашней работы — было сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты), — ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне — откуда ты, должно быть, идешь; словом, в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом... Стой, я сбился. Я заговарю снова.

Подумав, он продолжал так:

— Не знаю, сколько пройдет лет, — только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов; на берегу много соберется народу, удивляясь и ахая; и ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки; нарядная, в коврах, в золоте

и цветах, поплывет от него быстрая лодка. «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» — спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе руки. «Здравствуй, Ассоль! — скажет он. — Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, чего только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали». Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом.

— Это все мне? — тихо спросила девочка. Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так; она подошла ближе. — Может быть, он уже пришел... тот корабль?

— Не так скоро, — возразил Эгль, — сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом... Что говорить? — это *будет*, и кончено. Что бы ты тогда сделала?

— Я? — Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением. — Я бы его любила, — поспешно сказала она и не совсем твердо прибавила: — Если он не дерется.

— Нет, не будет драться, — сказал волшебник, таинственно подмигнув, — не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь того, что сказал тебе я меж двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди. Да будет мир пушистой твоей голове!

Лонгрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Ассоль, стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом.

— Ну вот... — сказала она, силясь овладеть дыханием, и ухватилась обеими руками за передник отца. — Слушай, что я тебе расскажу... На берегу, там, далеко, сидит волшебник...

Она начала с волшебника и его интересного предсказания. Горючка мыслей мешала ей плавно передать происшествие. Далее шло описание наружности волшебника и — в обратном порядке — погода за упущенной яхтой.

Лонгрен выслушал девочку не перебивая, без улыбки, и, когда она кончила, воображение быстро нарисовало ему неизвестного старика с ароматической водкой в одной руке и игрушкой в другой. Он отвернулся, но, вспомнив, что в великих случаях детской жизни

подобаает быть человеку серьезным и удивленным, торжественно закивал головой, приговаривая:

— Так, так; по всем приметам, некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть... Но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону; заблудиться в лесу нетрудно.

Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон. Глаза ее слипались, голова опустилась на твердое отцовское плечо, мгновение — и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Ассоль села прямо, с закрытыми глазами и, опираясь кулачками в жилет Лонгрена, громко сказала:

— Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?

— Придет, — спокойно ответил матрос, — раз тебе это сказали, значит все верно.

«Вырастет, забудет, — подумал он, — а пока... не стоит отнимать у тебя *такую* игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов: издали — нарядных и белых, вблизи — рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж?! Добрая шутка! Ничего — шутка! Смотри, как сморило тебя, — полдня в лесу, в чаще. А насчет алых парусов думай, как я: будут тебе алые паруса».

Ассоль спала. Лонгрэн, достав свободной рукой трубку, закурил, и ветер пронес дым сквозь плетень в куст, росший с внешней стороны огорода. У куста, спиной к забору, прожевывая пирог, сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табаку настроил добычливо.

— Дай, хозяин, покурить бедному человеку, — сказал он сквозь прутья. — Мой табак против твоего не табак, а, можно сказать, отрава.

— Я бы дал, — вполголоса ответил Лонгрэн, — но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, не хочется будить дочку.

— Вот беда! Проснется, опять уснет, а прохожий человек взял да и покурил.

— Ну, — возразил Лонгрэн, — ты не без табаку все-таки, а ребенок устал. Зайди, если хочешь, попозже.

Нищий презрительно сплюнул, вздел на палку мешок и съязвил:

— Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли! Эх ты, чудака-чудаковский, а еще хозяин!

— Слушай-ка, — шепнул Лонгрэн, — я, пожалуй, разбужу ее, но только затем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон!

Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Сзади их, то дергая мужей за рукав, то снимая через их плечо стакан с водкой, — для себя, разумеется, — сидели рослые женщины, с гнутыми бровями и руками круглыми, как булыжник. Нищий, вскипая обидой, повествовал:

— И не дал мне табаку. «Тебе, — говорит, — исполнится совершеннолетний год, а тогда, — говорит, — специальный красный корабль... За тобой. Так как твоя участь выйти за принца. И тому, — говорит, — волшебнику — верь». Но я говорю: «Буди, буди, мол, табаку-то достать». Так ведь он за мной полдороги бежал.

— Кто? Что? О чем толкует? — слышались любопытные голоса женщин.

Рыбаки, еле поворачивая головы, растолковывали с усмешкой:

— Лонгрэн с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке; вот человек рассказывает. Колдун был у них, так понимать надо. Они ждут — тетки, вам бы не прозевать! — заморского принца, да еще под красными парусами!

Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Ассоль услышала в первый раз:

— Эй, висельница! Ассоль! Посмотри-ка сюда! Красные паруса плывут!

Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря. Затем обернулась в сторону восклицаний; там, в двадцати шагах от нее, стояла кучка ребят; они гримасничали, высывая языки. Вдохнув, девочка побежала домой.

## II ГРЭЙ

Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, то Артур Грэй мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им.

Огромный дом, в котором родился Грэй, был мрачен внутри и величествен снаружи. К переднему фасаду примыкали цветник и часть парка. Лучшие сорта тюльпанов — серебристо-голубых, фиолетовых и черных с розовой тенью — извивались в газоне линиями прихотливо брошенных ожерелий. Старые деревья парка дремали

в рассеянном полусвете над осокой извилистого ручья. Ограда замка, так как это был настоящий замок, состояла из витых чугунных столбов, соединенных железным узором. Каждый столб оканчивался наверху пышной чугунной лилией; эти чаши по торжественным дням наполнялись маслом, пылая в ночном мраке обширным огненным строем.

Отец и мать Грэй были надменные невольники своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить «мы». Часть их души, занятая галереей предков, мало достойна изображения, другая часть — воображаемое продолжение галереи — начиналась маленьким Грэем, обреченным по известному, заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка: Артур Грэй родился с живой душой, совершенно несклонной продолжать линию фамильного начертания.

Эта живость, эта совершенная извращенность мальчика начала сказываться на восьмом году его жизни; тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, то есть человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную — роль провидения, намечался в Грэе еще тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, то есть попросту замазал их голубой краской, похищенной у маляра. В таком виде он находил картину более сносной. Увлеченный своеобразным занятием, он начал уже замазывать и ноги распятого, но был застигнут отцом. Старик снял мальчика со стула за уши и спросил:

— Зачем ты испортил картину?

— Я не испортил.

— Это работа знаменитого художника.

— Мне все равно, — сказал Грэй. — Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу.

В ответе сына Лионель Грэй, скрыв под усами улыбку, узнал себя и не наложил наказания.

Грэй неутомимо изучал замок, делая поразительные открытия. Так, на чердаке он нашел стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и кожу, истлевшие одежды и полчища голубей. В погребе, где хранилось вино, он получил интересные сведения относительно лафита, мадеры, хереса. Здесь, в мутном свете остроконечных окон, придавленных косыми треугольниками каменных сводов, стояли маленькие и большие бочки; самая большая, в фор-



ме плоского круга, занимала всю поперечную стену погреба, столетний темный дуб бочки лоснился, как отшлифованный. Среди бочонков стояли в плетеных корзинах пузатые бутылки зеленого и синего стекла. На камнях и на земляном полу росли серые грибы с тонкими ножками; везде — плесень, мох, сырость, кислый удушливый запах. Огромная паутина золотилась в дальнем углу, когда, под вечер, солнце высматривало ее последним лучом. В одном месте было зарыто две бочки лучшего аликанте, какое существовало во время Кромвеля, и погребщик, указывая Грэю на пустой угол, не упустил случая повторить историю знаменитой могилы, в которой лежал мертвец, более живой, чем стая фокстерьеров. Начиная рассказ, рассказчик не забывал попробовать, действует ли кран большой бочки, и отходил от него, видимо, с облегченным сердцем, так как невольные слезы чересчур крепкой радости блестили в его повеселевших глазах.

— Ну вот что, — говорил Польдишок Грэю, усаживаясь на пустой ящик и набивая острый нос табаком, — видишь ты это место? Там лежит такое вино, за которое не один пьяница дал бы согласие вырезать себе язык, если бы ему позволили хватить небольшой стаканчик. В каждой бочке сто литров вещества, взрывающего душу и превращающего тело в неподвижное тесто. Его цвет темнее вишни, и оно не потечет из бутылки. Оно густо, как хорошие сливки. Оно заключено в бочки черного дерева, крепкого, как железо. На них двойные обручи красной меди. На обручах латинская надпись: «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю». Эта надпись толковалась так пространно и разноречиво, что твой прадедушка, высокородный Симеон Грэй, построил дачу, назвал ее «Рай» и думал таким образом согласить загадочное изречение с действительностью путем невинного остроумия. Но что ты думаешь? Он умер, как только начали сбивать обручи, от разрыва сердца, — так волновался лакомый старичок. С тех пор бочку эту не трогают. Возникло убеждение, что драгоценное вино принесет несчастье. В самом деле, такой загадки не задавал египетский сфинкс. Правда, он спросил одного мудреца: «Съем ли я тебя, как съедаю всех? Скажи правду, останешься жив», но и то, по зрелом размышлении...

— Кажется, опять каплет из крана, — перебивал сам себя Польдишок, косвенными шагами устремляясь в угол, где, укрепив кран, возвращался с открытым, светлым лицом. — Да. Хорошо рассудив, а главное, не торопясь, мудрец мог бы сказать сфинксу: «Пойдем, братец, выпьем, и ты забудешь об этих глупостях». — «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю!» Как понять? Выпьет, когда умрет, что ли?

Странно. Следовательно, он святой, следовательно, он не пьет ни вина, ни простой водки. Допустим, что «рай» означает счастье. Но раз так поставлен вопрос, всякое счастье утратит половину своих блестящих перышек, когда счастливец искренно спросит себя: рай ли оно? Вот то-то и штука. Чтобы с легким сердцем напиться из такой бочки и смеяться, мой мальчик, хорошо смеяться, нужно одной ногой стоять на земле, другой — на небе. Есть еще третье предположение: что когда-нибудь Грэй допьется до блаженно-райского состояния и дерзко опустошит бочечку. Но это, мальчик, было бы не исполнение предсказания, а трактирный дебош.

Убедившись еще раз в исправном состоянии крана большой бочки, Польдишок сосредоточенно и мрачно заканчивал:

— Эти бочки привез в 1793 году твой предок, Джон Грэй, из Лиссабона, на корабле «Бигль»; за вино было уплачено две тысячи золотых пиастров. Надпись на бочках сделана оружейным мастером Вениамином Эльяном из Пондишери. Бочки погружены в грунт на шесть футов и засыпаны золой из виноградных стеблей. Этого вина никто не пил, не пробовал и не будет пробовать.

— Я выпью его, — сказал однажды Грэй, топнув ногой.

— Вот храбрый молодой человек! — заметил Польдишок. — Ты выпьешь его в раю?

— Конечно. Вот рай!.. Он у меня, видишь? — Грэй тихо засмеялся, раскрыв свою маленькую руку. Нежная, но твердых очертаний ладонь озарилась солнцем, и мальчик сжал пальцы в кулак. — Вот он, здесь!.. То тут, то опять нет...

Говоря это, он то раскрывал, то сжимал руку и наконец, довольный своей шуткой, выбежал, опередив Польдишока, по мрачной лестнице в коридор нижнего этажа.

Посещение кухни было строго воспрещено Грэю, но, раз открыв уже этот удивительный, польхающий огнем очагов мир пара, копоти, шипения, клочкотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара; их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения; веселые, толстые судомойки у бочек с водой мыли посуду, звеня фарфором и серебром; мальчишки, сгибаясь под тяжестью, вносили корзины, полные рыб, устриц, раков и фруктов. Там на длинном столе лежали радужные фазаны, серые утки, пестрые куры; там свиная туша с коротеньким хвостом и младенчески закрытыми глазами; там — репа, капуста, орехи, синий изюм, загорелые персики.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Алые паруса .....                | 5   |
| Блистающий мир .....             | 65  |
| Золотая цепь .....               | 207 |
| Бегущая по волнам .....          | 323 |
| Дорога никуда .....              | 491 |
| Автобиографическая повесть ..... | 703 |